

Любовь никогда не перестает...

1 Кор. 13:8

Мефистофель ее пугает не как черт,
а как «что-то такое, что в каждом человеке
может быть».

И.С. Тургенев. Фауст: рассказ в девяти письмах

2005, апрель, Москва

В комнате Али в общежитии висит плакат. На нем — кадр из фильма «Титаник». Тот самый, где герои стоят на носу корабля, расправив руки, и несутся навстречу катастрофе. Они еще о ней знать не знают, но предчувствуют и жаждут. А что еще хотеть влюбленным, приблизившимся к пределу охватившего их чувства? Эта картинка воплощает представление двадцатилетней Али о любви.

Некоторые из однокурсников уже строят карьеру или начинают бизнес. Скворцов — гений с гайморитом, лучший студент на курсе, занялся продажей компьютеров. Антонов, боксер, подался в бои без правил. Кира, носящая цветные косички, пишет русские пейзажи — туман над излучиной реки, тропинку в осеннем лесу, заснеженный овраг с березой наверху — и шустро продает их на Арбате. Если Киру вовремя поймать, пока она не накупила красок, виски и консервированной ветчины, то можно занять денег на неопределенное время.

У Али ни талантов, ни явной склонности к разумной деятельности нет. Да и планов на будущее как таковых. В свободное от учебы время она бесцельно бродит по городу, грызет арахис, рассматривает фронтоны и барельефы старых московских домов или читает на лавочках романы. Откликается на

уличные знакомства. Опыты по большей части неудачные, но она не сдаётся.

Вот так апрельским утром она натягивает джинсы, сидя на чужой кровати. Ее вчерашний знакомый выставил спину, делая вид, что спит. Из открытой форточки тянет температурающими почками, несет краской — дворники с утра красят лавочки. Зевая, она разглядывает, как солнечный клинок буравит стену над письменным столом. Стол из светлого дерева, на ящиках кружатся ручки под слоновою кость. На столе стоят статуэтки Шекспира и святого Антония, висится аккуратная стопка книг: Мольер, Брехт, Островский. Пьесы. Их Аля не любит: скучно, ни подробностей, ни чувств, ни ощущения пространства. У противоположной стены в углу, в тени вытянулась, прячась от солнечного убийцы, черная спортивная груша.

Кроме кровати, стола со стулом и спортивной груши, в комнате ничего больше и нет. Даже одежду вчерашний знакомый сложил на стуле: аккуратно, как в магазине. Ее барахло, впрочем, не трогал — Аля бросила ночью джинсы и свитер на пол, с пола сейчас и подобрала. Она просовывает ногу в штанину и едва не вскрикивает, задев натертую туфлями мозоль.

— У тебя нет пластыря?

Притворяется, что не слышит. Ну а что, он актер. Может сделать вид, что кошка вообще. Вчера соседка по комнате Оля Куропаткина повела Алю на спектакль, в котором он играл Миколку из «Преступления и наказания». Появился трижды. Каждый раз, когда это происходило, Куропаткина хватала Алю и шептала, волнуясь: вот он, вот он. После окончания спектакля потащились к служебному выходу за автографом. Макар Духов, так зовут этого актера, вышел одним из последних — длинное пальто, кеды, рюкзак за спиной. Худой. Немного сутулый. При-

ческа — как и подобает красавчику актеру. Заметно смутился, когда девушки к нему подошли. У него и ручки сразу не нашлось. «Наверное, в рюкзаке», — сказал он. В двух шагах был сквер — широко и быстро шагая, Макар Духов направился туда, девушки чуть не бегом последовали за ним.

Поставив рюкзак на скамейку, актер вытащил книжку, бутылку вина, трикотажную шапку, дудочку и только потом нашарил ручку. Куропаткина протянула его же фотографию, та с сентября висела у нее над кроватью в общежитии, и актер, подложив книгу, что-то старательно написал и расписался. Отдал. Посмотрел на Алю.

— Нет, мне не надо, — сказала она.

Он как-то опять смутился, раскрыл книжку, которую еще держал в руках, расписался на форзаце, протянул Але.

— Спасибо. — Она взяла книжку, повернула к фонарю, прочитала название: Рюноскэ Акутагава «Слова пигмея: рассказы». Серьезное лицо японца на мягкой синей обложке. Положила в сумку.

— А что у тебя за вино?

Куропаткина толкнула ее локтем.

— Рислинг. Угостить?

— Нет, спасибо, — заявила Куропаткина.

— Я попробую, — сказала Аля.

А сейчас актер замер, как ящерица, ожидает, пока неудавшаяся возлюбленная уйдет.

— Так нет у тебя лейкопластыря?

На улице заводится какая-то апрельская птица.

— Открой верхний ящик стола.

Аля подходит к столу и выдвигает ящик. Внутри стопкой лежат пластиковые папки разных цветов, теснятся выровненные и подогнанные друг к другу ручки, идеально заточенные карандаши, ластики,

карточки магазинов. Под папками обнаруживаются школьные грамоты и фотографии, выцветшие — видимо, висели до недавнего ремонта на стене. Аля вытягивает одну из фотографий: мальчик лет семи стоит рядом с мужчиной. Под зонтом, у здания с колоннами. Оба в плащах, как-то одинаково поддуваемых ветром, в мокрых ботинках. Волосы тоже сдуло в одну сторону.

Как это бывает? Точно фокусник делает щелчок пальцами — и вот декорации твоей жизни в один миг меняются. Тринадцать лет назад Аля уже видела эту фотографию.

1992–1994

Мать Али — Дарья Алексеевна Соловьева — была страстной натурой, так она о себе говорила. Главной ее страстью был муж Сергей, отец Али, за ним-то, точнее — по его следу, маленькая Аля и мать несколько лет ездили из города в город. Дарья Алексеевна считала, что ее с *Сергежей* связывает та самая великая любовь, о которой снимают фильмы и пишут книги. «Такая любовь мало кому выпадает», — с гордостью заявляла мать. Правда, между Дарьей Алексеевной и Алиным отцом произошло недоразумение. «Нужно найти Сергежу, — говорила мать, — и все ему объяснить». Он поймет, уверяла она, они втроем снова будут вместе, и правильный порядок вещей будет восстановлен. А правильный порядок вещей, считала Дарья Алексеевна, рано или поздно всегда восстанавливается.

Какими источниками информации мать пользовалась в конце 1980-х — начале 1990-х? Возможно, писала запросы в адресно-справочные службы, давала объявления в газетах. А может, прислушивалась к голосам в голове. Теперь не узнаешь. Нет, мать жива и относительно здорова, но после давнего происшествия ее память спотыкается как раз о те несколько лет, когда она с маленькой дочерью переезжала с места на место.

Что Аля помнит из того времени? Пыль на обочине, свои сандалии — кожаные, цветом почти не отличимые от пыли, с дырочками и крепкой прошивкой у подошвы. Растянутый ремешок на левой ноге все время расстегивался. Подол маминого платья: веселые полоски чередуются с разливом насыщенной сини. Полоски шли от самого низа платья и пропадали под вспотевшими мышками мамы, а потом появлялись на коротком рукаве. Каблуки маминых туфель громко и гулко отстукивали по асфальту незнакомого города. Если замешкавшись, заглядевшись на собаку, поднявшую заднюю лапу, или на красный трамвай, или на солнце в зеленых густых сетях лип, маленькая Аля теряла мать из виду, то догоняла, ориентируясь по этому стуку — ритму, который было ни с чем не спутать. Прибыв на место, заселялись в очередной дом. Аля сразу принималась его обследовать: ощупывала, обнюхивала стены, дверные проемы, подоконники, старую мебель — продавленный диван и полированный с царапинами стол, стул. Прислонив ухо к стене или полу, слушала гул, запоминала. На улице вдыхала, перебирала внутри себя запахи нового двора: горечь обрезанных веток (дворник орудовал секатором), терпкий рассол разлившейся по весеннему снегу воды или, если была осень, тревожный дух перебродивших листьев, вонь тлеющего мусора и одуряющий, резкий запах резиновых сапожек, которым были ничем ни снег, ни кофейные лужи, ни чавкающая угрюмая грязь. Резиновые сапожки стоили дешево, и мать на них не скупилась.

Дарья Алексеевна находила работу. С работой было сложно, но все же она что-то подыскивала — на рынке, в ларьке, устраивалась ходячим продавцом духов, алкоголя или детских книг. А что же отец? Спустя неделю-другую мать выясняла, что воспользовалась ошибочными сведениями, или узнавала,

что отец и в самом деле был тут, но успел съехать до того, как получил ее письмо. Да, каждый раз, когда матери удавалось узнать адрес, а не только информацию, что *Серезжу* видели в таком-то городе, она первым делом писала ему письмо, сообщала, что едет. После длинного текста, выведенного четким почерком с сильным наклоном влево, маленькая Аля рисовала солнышко, человечка или собачку. Если город был большим, на подтверждение того, что отца тут нет, уходили месяцы.

Каждое утро Дарья Алексеевна кормила дочь завтраком, закачивала себе чай в термос и уходила до вечера. Ну то есть так было, конечно, не всегда. Но после того как Але исполнилось пять, она в понимании матери стала достаточно взрослой, чтобы оставлять ее одну на целый день, закрыв на ключ. Прежде чем уйти, мать долго одевалась у зеркала. Никогда не носила брюк, джинсов, ни тем более спортивных костюмов, так модных тогда, нет — только платья или юбки с блузками. Возможно, дело было в широких бедрах: избегая быть смешной, она выбирала то, что выгодно подавало фигуру. Подведенные глаза матери напоминали черные некрупные фасолины, а нос был ровен и прям. Возможно, среди их предков затесался турок или араб. Только зубы все портили — были слишком крупные. Когда Дарья Алексеевна улыбалась, то собеседнику начинало казаться, что с красотой тут что-то не так. Але от внешности матери достались разве что волосы — такие же густые, вьющиеся. Но у матери они были черные и послушные, а у Али цвета сосновых шишек. Уже тогда, в детстве, волосы было трудно расчесать и почти невозможно уложить.

Побрызгавшись духами, Дарья Алексеевна надевала начищенные туфли, постукивала каблуками несколько раз о пол, прислушиваясь, нащупывая мелодию, точно музыкант перед игрой. Вместо поцелуя

брала дочь за подбородок и говорила, что уходит, но будет наблюдать за Алевтиной. Она всегда называла ее полным именем — Алевтина. Никогда — Аля, Алечка, Алюшка, только — Алевтина. «Если я увижу, что Алевтина делает что-то неправильное, то она будет наказана. Алевтина поняла?»

Спустя несколько минут после ухода матери маленькая Аля и в самом деле начинала ощущать ее незримое присутствие. Заглядывала в углы, забиралась на шкаф, исследовала полки, заползала под кровать, шурилась в темноту подсобок. Долго задумчиво глядела на календарь на стене. Она хотела узнать, откуда мать за ней наблюдает и как это делает. Во время поисков попутно исследовала материны пузырьки духов, тюбики с кремом, помады, румяна. Дарья Алексеевна расставляла косметику на комод, если такой имелся, или на полке в шкафу. Чувствуя взгляд матери на затылке, Аля брала каждую вещь осторожно, запоминая, где и как она стояла. На столе, тумбочке или полу у кровати громко тикал будильник — красный, с крупными черными цифрами. Без этого будильника мать не могла встать утром, он неизменно путешествовал с ними из города в город. Когда мать была на работе, будильник тосковал по ней, увеличивая с каждым часом громкость, — Аля иногда даже прикрывала уши, чтобы не слышать его.

У матери были две шелковые сорочки, завернутые в газету. Они, эти сорочки, понадобятся, говорила Дарья Алексеевна, когда она снова будет с *Серрежей*. Впрочем, иногда по вечерам надевала одну из них, смотрелась в зеркало, садилась к дочери на кровать и рассказывала длинную сказку. Мать не помнила сказки наизусть и рассказывала как вздумается. Все они были про любовь. Дарья Алексеевна считала, что, кроме любви, ничего стоящего в мире нет. «Можешь даже не искать», — говорила она.

Мать вырезала из газет стихи и клеивала их в толстую тетрадь. От обложки из темного дерматина пахло лекарством от кашля. Иногда мать зачитывала стихи вслух. Смысла их Аля не понимала, но ритм и мамины интонации завораживали и странно щекотали в середине груди, где прощупывалась крепкая косточка.

День длился долго. Возвратившись, Дарья Алексеевна кормила дочь, а потом отправляла на прогулку — под окна. «Алевтина должна быть все время на виду, это ясно?» Наказание заслушание было жестоким. Однажды, рассердившись, что дочь убежала и пришлось больше часа ее искать, мать сломала куклу с веселыми васильковыми глазами, единственную, пережившую несколько переездов. Аля, закрывшись подушкой, долго плакала, шепча, обзывала мать ужасными словами, но тут же одергивала себя, объясняла себе маминым голосом, что Алевтина сама нарушила правило.

В выходные и праздники шли гулять. Мать заметно веселела, становилась щедрой: покупала мороженое, катала Алю на каруселях, водила в кино. Время от времени, спохватившись, оглядывалась, напряженно всматривалась в лица прохожих — надеялась, не мелькнет ли лицо отца.

Рано или поздно наступал день, когда Дарья Алексеевна, напевая, подходила к Але, поднимала ее на руки, целовала в щеки и заявляла, что нашла отца, и они немедленно поедут к нему. Аля старалась не заплакать. Она еще не успела нажиться в деревянном доме со скрипящими ступеньками и большими окнами, меж стекол которых застряли и засушились шершни и стрекозы; или в квартире с затейливыми золотисто-травянистыми обоями, с бормочущим днем и ночью, точно старик, унитазом, старой чугунной ванной в ржавых розах и подтеках. Не накачалась на дворовых качелях со стершейся краской. Не дождалась,

когда нальется медом или кровью смородина, когда подрастет дворовый щенок. Но обиднее всего — не надружилась. Только-только Игорек разрешил забраться на его дерево, растущее в углу двора, и посидеть в уютной выемке между ветвей, показал ворованных солдатиков, которых прятал под пластом мха у ствола этого дерева, между корнями, выступающими серыми змеями над осенними листьями. В тайнике были не только солдатки, но и пачка с двумя сигаретами, а еще сложенный вчетверо листок из журнала, на нем — голая женщина на капоте машины. Аля позавидовала ее спадающим на плечи белым волосам. Аля и Игорек даже поцеловались — между ними, несомненно, начиналась любовь, та самая, о которой перед сном замороженно рассказывала ей мать, но тут нужно было прощаться навсегда. Навсегда! Аля оказалась привязчива. Ночь перед отъездом плакала и грызла подушку от отчаяния.

Вещей у Соловьевых было мало, при переездах они умещались в два чемодана и рюкзак, все это мать таскала на себе. У Али был ранец, в него она могла положить свои пожитки: сколько возьмет — дело Алевтины, нести ей. Зимой, когда теплая одежда и обувь были на теле, в чемоданы умещалось больше, но если уезжали летом, то многие наново нажитые вещи приходилось оставлять. В основном принадлежавшие Але. Иерархия в их небольшой семье была строгая.

Иногда мать спрашивала: помнит ли Алевтина отца? Аля помнила брюки, темные, в крапинку, как асфальт после дождя, хорошо отглаженные. И пятно мороженого на них, и привкус слез — отец отругал ее. Помнила запахи терпкого одеколona и сигарет, от них ее подташнивало. И еще — как забилося от страха сердце, когда две крепкие руки с закатанными рукавами рубашки подняли ее слишком высоко, и она, увидев далеко внизу землю, закричала так, что в ушах

зазвенели и больно взорвались колокольчики. А еще были новые санки с разноцветными перекладинами, и отец – темное пальто, меховая шапка – сел на них, покатился с горки и сломал разом две палочки, санки стали некрасивые, щербатые, и Аля заплакала. Она каждый раз рассказывала об этом матери, и та каждый раз расстраивалась. Неужели, говорила мать, Алевтина не помнит, как отец качал ее на качели, и Алевтина смеялась от восторга? Как купил самую дорогую куклу, на которую она указала в магазине? Он потратил на куклу почти все их сбережения на месяц, мать тогда возмутилась, а он только рассмеялся. Как катал на спине по песку на пляже? И как Алевтина сидела у него на плечах на демонстрации и, счастливая, глядела по сторонам? Ночью, когда Алевтина плакала, проснувшись от кошмаров, только он мог ее успокоить. Але нравились эти мамины рассказы, нравилось, что ее кто-то так любил, но сама она этого ничего не помнила.

В один из августовских дней 1992 года Аля и мать заблудились в лесу. Судя по одежде – платью и туфли, – они отправились не за грибами и не за ягодами, впрочем, мать в них ничего и не понимала. Несколько часов шли и шли по лесу не останавливаясь. Мать впереди, Аля за ней. Если попадались препятствия – высокая трава, густые, сплетенные ветками кусты, – мать заводила за спину руку, и Аля хваталась за ее сильную и крепкую ладонь. Девочке хотелось похныкать, пожаловаться на усталость, но, во-первых, мать не любила, когда она жаловалась, а во-вторых, Аля боялась разжать губы, чтобы не проглотить сухую паутину вместе с дохлой мухой. Мать предупредила, что лес волшебный, и если муха попадет Алевтине в рот, то и сама Алевтина превратится в муху, а если Алевтина проглотит лист, то обратится деревом, которое будет глотать лось, а если, упаси бог, съест какую ягоду – то станет

ягодой, и ее склюет ворон. Але было семь в то лето, и она понимала, что мать так шутит и лес обыкновенный, но все-таки на всякий случай крепко сжимала губы, хотя очень хотелось сорвать и пожевать плотный резной лист, а ягоды так и тянулись с кустов — Аля зажмуривалась, чтобы их не видеть, и спотыкалась о коряги. Так она потеряла одну за другой туфли. Каждый раз пыталась остановиться, чтобы подобрать туфлю, но мать рывком тянула дальше.

Сползшие гольфы вскоре обзавелись подошвой из грязи и сосновых иголок, но все же шишки, усыпавшие землю, больно впивались в ступни. Язык сделался сухой, увеличился и с трудом помещался в плотно закрытом рту. Оглядываясь по сторонам, Аля как-то раз заметила свернувшуюся клубком на пне змею — та ловила солнце, спускавшееся столпом в проем между деревьями, точно в колодец. В другой раз увидела за листвой рога и блестящие глаза, они тут же исчезли, раздался шум и треск, побежавший по веткам и кустам вглубь леса. Мать повернула голову, прислушалась, прибавила шаг. Вечерело. Когда проходили мимо особенно раскидистого дерева, Аля выдернула руку, уселась под него и заплакала. Мать опустилась рядом.

— А где туфли Алевтины?

Девочка сглотнула слезы.

— Хорошо, пусть Алевтина отдохнет немного.

Дарья Алексеевна сорвала листок, послонявила и прислонила к запекшемуся порезу на щеке. Порез у нее был страшный, глубокий, кровоточил. Следы засохшей крови были и на шее матери, несколько пятен виднелись на платье. Аля не могла вспомнить, когда мать так сильно порезалась. У нее самой тоже были царапины от веток на ногах и на руках, но совсем крохотные.

Дерево, обрадовавшись компании (можно ведь и сто лет простоять, и никто так и не сядет под твоей